

В. М. ЖИВОВ

ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ, ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

История понятий, или в немецком оригинале *Begriffsgeschichte* (поскольку это направление историко-филологических штудий возникло и оформилось в Германии), выделилась в особую область знания в значительной степени благодаря трудам Райнхарта Козеллека и отчасти его старших коллег Отто Бруннера и Вернера Конце, издавших вместе с ним фундаментальный труд: *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* [Wippler et al. 1972—1993]. Это школа возникла, естественно, не на пустом месте. Журнал *Archiv für Begriffsgeschichte* начал выходить еще в 1955 г., а интеллектуальные традиции данного направления принято возводить к появившемуся в 1899 г. *Словарю философских понятий* (*Wörterbuch der philosophischen Begriffe*) Рудольфа Эйслера [Eisler 1910]. Его особенности, с которыми, надо думать, связана его нарастающая популярность в современных гуманитарных исследованиях, отчетливо видны при сопоставлении *Begriffsgeschichte* в своих истоках отчасти напоминает разрабатывавшуюся в англоязычном мире историю идей (*history of ideas*). Отличительной характеристикой немецкого варианта с самого начала оказывается внимание к слову как таковому, к историко-филологической составляющей анализа интеллектуальных процессов.

Такой разворот в *Begriffsgeschichte*, конечно же, не случаен. В этом ясно просматривается преемственность в отношении к развитию немецкой философской мысли XX столетия. Прежде всего и наиболее очевидным образом речь идет о герменевтике. Идеи или понятия не существуют сами по себе как абстрактные метафизические сущности. Они живут в тексте (и дают жизнь тексту) и в этой своей жизни требуют диалога с традицией. Развитие понятий — это герменевтический

процесс, процесс «действительной истории» (*Wirkungsgeschichte*) в терминологии Ганса-Георга Гадамера. В работах Козеллека переклички с трудами Гадамера, который был его учителем, многочисленны и содержательны. Отмеченная преемственность имеет, однако, более общий и широкий характер. Фоном, на котором появляется *Begriffsgeschichte*, является тот анализ способов познания, который отличает феноменологические исследования, начиная по крайней мере с Дильтея и Гуссерля. Познание начинается рассматриваясь беспредпосылочно, в его прямой данности, и отсюда появляются концептуализации языка в его когнитивной или бытийной инструментальности (в России эта линия развития представлена в трудах Г. Г. Шпетя, в частности, в его *Внутренней форме слова* [Шпет 1927]). В Германии этот процесс затрагивает не только филологию, но и собственно филологию и языкознание (см. труды Йоста Трира, например, [Trier 1931]). Можно полагать даже, что появление проекта Бруннера, Конце и Козеллека, равно как и позднейших теоретических работ Козеллека, не столько сформировало новый подход в области *Geisteswissenschaft*, сколько распространяло рассматриваемое широкое философское движение на историю.

В самом деле, основным предметом *Begriffsgeschichte* в том виде, как она представлена в работах Козеллека, является история. То, что изучал Козеллек, — это язык истории, язык, на котором пишется история, и язык, в котором происходит история. Козеллек писал о неустранимом напряжении, которое существует между социальной историей и историей понятий или, иными словами, между историческим фактом и его языковым воплощением: «Социальная история, или история общества, и история понятий находятя в исторически обусловленном напряженном отношении, которое отсылает обе истории друг к другу, не будучи само способным когда-либо прекратиться» [Козеллек 2006: 37]. Козеллек отдает себе отчет в абсолютном доминировании языка в истории, так как языковые тексты не только являются важнейшими участниками истории (в виде сопташений, юридических актов, приказаний и т. д.), но и составляют материал истории: «[К]ак только событие станет прошлым, язык превращается в основной фактор, без которого невозможно никакое воспоминание и никакое научное осмысление этого воспоминания» [Там же: 41]. В этом плане Козеллек идет дальше, чем Люсьен Февр или Марк Блох (на которых он ссылается), для которых ментальные структуры остаются объектом изучения историка, не подчиняя его себе как наблюдателя.

Вместе с тем Козеллек не совершает радикального и несомненно опасного шага в метаисторию, как это делает Хейден Уайт (ср. предисловие Козеллека к книге Уайта *Topics of Discourse* и предисловие Уайта к английскому изданию статей Козеллека [Koselleck 2002: IX—XIV, 38—44]). Хотя Козеллек пишет о «фактивности фактического», реальность которого возникает лишь «посредством языковой фикции» [Ibid.: 43], он сохраняет определенное пространство для истории «вне языка». Он пишет о том, что «на уровне языка должно быть определено то, что в прошлой истории обусловила собой язык, а что нет» [Ibid.: 41], и приписывает определенную автономно истории общества, указывая, что «[р]азличие между действием и речью (...) препятствует также, при взгляде в прошлое, тому, чтобы социальная 'действительность' когда-либо совпала с историей ее языковой артикуляции» [Ibid.: 51]. Основной акцент Козеллек делает на том, что историю невозможно построить и невозможно помыслить без истории понятий. С этим легко согласиться, в особенности учитывая тот вклад, который внесли в понимание исторического процесса работы Козеллека и его сотрудников. Этот подход, однако, фокусирует внимание исследователей, занимающихся историей понятий, на истории Козеллек, естественно, далеко от исторического детерминизма Гергеля, но он не полностью оторван от этой традиции. Он испытывает несомненное влияние М. Хайдеггера, причем прежде всего позднего Хайдеггера с его концептом истории бытия. Неудивительно поэтому, что у Козеллека, по словам Н. Е. Колпосова, «[и]стория оказывается (...) некоторой самодельной силой, способной навязывать народам [лучше было бы сказать *человечеству*: — В. Ж.] их судьбу» [Колпосов 2006б: 17]. История понятий, как ее преподносит Козеллек, есть прежде всего история исторических понятий.

Можно предположить, что ширящийся интерес к *Begriffsgeschichte* в международных гуманитарных исследованиях связан с центральностью для них исторической (а не синхронно-декриптивной) проблематики, с постструктуралистским преимущественным вниманием к конструированию процессов, а не состояний. Козеллек и его сотрудники оказались постструктуралистами аван ла лётте и отчасти не по своей воле. При таком развитии немецкая история понятий следовала передовой наукой, за которой последовали другие национальные традиции. Российская наука также в последние годы начала осваивать данное направление. Здесь можно указать и на работы ряда ученых из Европейского университета в Санкт-Петербурге, издавшего сначала

сборник *Понятие государства в четырех языках* под ред. О. Хархордина [Хархордин 2002]¹, а затем сборник *Исторические понятия и политические идеи в России XVI—XX века* под ред. Н. Е. Копосова [Копосов 2006а]. Интересные начинания обнаруживаются в работах Е. Н. Марасиновой [Марасинова 2004а; 2004б]. Настоящий сборник также может рассматриваться как вклад в развитие данной исследовательской парадигмы².

Эти единичные и частные труды неправомерно, конечно, сравнивать с фундаментальными работами Козеллека и его коллег. Однако вряд ли прав Петер Тирген, который полагает в предисловии к изданному им сборнику с красноречивым названием *Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Fortschrittsdesiderat*, что «Россия и Советский Союз были для истории понятий отнюдь не благоприятной почвой», и причину этого видит в том, что «история понятий требует свободы мысли», которой в России (и тем более в Советском Союзе) никогда не было [Thiergen 2006: ХХ]. Я не стану входить в споры о российском свободомыслии и вспоминать изречения Чадаева, как это делает немецкий коллега³. На мой взгляд, он напрасно импичитно противопоставляет западноевропейские успехи в области *Begriffsgeschichte* российской отсталости и ставит перед русской историей понятий задачу «нагнать утупленное» [Ibid.: ХХV]. Отсталость русистики вполне сопоставима с отсталостью итальянистики или отсталостью испанистики, и это побуждает сомневаться в перспективности генерализирующих объяснений, апеллирующих к характеру «национальной» истории, и искать причины

¹ Этот сборник развивает идеи, изложенные в более ранней работе О. Хархордина, вошедшей затем в сборник его статей [Khanhordin 2005].

² Само собой разумеется, что история русских понятий не является уделным владением русских ученых. Небольшие историки и филологи, исследующие русский материал, затрагивали в своих исследованиях и ряд проблем *Begriffsgeschichte*. Здесь нужно прежде всего отметить работы Ингрид Ширле [Schirle 2001; 2005—2006; 2006; 2007]. Некоторое количество сочинений, вполне вписывающихся в козеллековскую парадигму, можно найти среди многочисленных лексикографических работ Г. Кайперта (ср., например, [Кайперт 1998; 2006]). О сборнике статей, посвященных истории русских понятий, который недавно был издан под ред. Петера Тиргена, будет сказано непосредственно ниже.

³ Дискуссионным, конечно, остается и вопрос о том, сколько именно свободы мысли нужно для благополучного функционирования *Begriffsgeschichte*. Здесь можно вспомнить, что ряд исходных интуиций этого направления восходит к работам М. Хайдеггера и О. Бруннера, до какой-то степени связанным с установками напивно-социализма (см. [Копосов 2006б: 11—14]), эпоха которого едва ли может рассматриваться как расцвет интеллектуальной свободы.

в частных особенностях различных интеллектуальных традиций. В конце концов, и английский вариант *Begriffsgeschichte*, представленный в работах К. Скиннера [Skinner 1978] и М. Покока [Rosock 1972], отличается своими особенностями, обусловленными иной, чем у Козеллека, интеллектуальной атмосферой (ср. [Копосов 2001: 284—294]). И относительно этих работ может быть поставлен вопрос, до какой степени они являются «*Begriffsgeschichte in strengem Sinn*».

Об этом строгом смысле П. Тирген пишет по поводу *Истории слов* В. В. Виноградова [Thiergen 2006: ХХI] и, вполне естественно, находит, что исследования Виноградова не могут быть историей понятий «в строгом смысле». С моей точки зрения, проблема состоит в том, в какой мере этот строгий смысл оправдан, в какой мере он соответствует строго очерченной области знаний, а в какой мере оказывается данью специфическим интересам и идiosинкратическим построениям Козеллека (постановка подобного вопроса никак не умаляет выданных Козеллеком блестящих достижений тавтологической истории понятий). Для Козеллека, как уже говорилось, главным интересом была история, и в силу этого понятия, на которых сосредоточивалось его внимание, были социально-политическими понятиями. Принципиальной ценностью обладало для Козеллека все то, что так или иначе относилось к изменениям в конструкции темпоральности, прежде всего отличительные черты времени в Новом времени (*Neuzeit*). Сюда как раз и относятся такие понятия, как история, время, Новое время, прогресс, эпоха, цивилизация и т. п.

Можно ли, однако, утверждать, что вне понятий этого круга существенных предметов для изучения в плане *Begriffsgeschichte* не существует? Думается, такие ограничения были бы не только контрпродуктивными, но и противоречивыми внутренней конструкции данной области. Концептуализирование истории в различные эпохи апеллировало отнюдь не только к темпоральности как таковой, но к понятиям, имманентной темпоральностью не обладающим. До Нового времени история двигалась к Страшному Суду, так что ее темпоральность могла поглощаться эсхатологичностью (см. [Koselleck 2004: 232]). Это означает, что для человека поздней античности, или Средних веков, или — ограничиваясь нелигитимной частью населения — раннего Нового времени спасение было никак не менее важной категорией, чем время, так что понятие истории соприкасалось с такими «неисторическими» понятиями, как спасение, грех, покаяние, страх, смирение и т. п. Провести содержательную границу между по-

ностями, определенными культурное сознание многих поколений, и понятиями, на которых покоилось историческое сознание, не кажется возможным: история — это часть культуры, и культура — это часть истории.

Можно, конечно, возразить, что такой подход абсолютизирует культуру, которая представляет собой еще более расплывчатую категорию, чем история, которую абсолютизирует Козеллек. Однако в данном случае терминологические дискуссии сводятся к перебору слов и вряд ли приводит к прояснению смысла. Мы можем, не вдаваясь в возникающие споры, определить культуру как совокупность наследуемых (т. е. мемориализируемых) дискурсивных, социальных, религиозных, эстетических и познавательных практик: изменяющихся (т. е. приобращающих историческую проекцию) в процессе наследования. История и есть выстраиваемый сознанием ряд таких изменений, то динамическое бытие, в котором эти практики осуществляются. Эти образующие порочный круг определения достаточно для того, чтобы уяснить, чем мы занимаемся, и, в частности, расширить область истории понятий от понятий «исторических» к понятиям «культурным». Последняя категория, очевидным образом, внутренне тавтологична, поскольку невозможно помыслить существование «вне-культурных» понятий. Можно было бы даже сказать, что история понятий — это история культуры, рассматриваемая как динамическая вербальная деятельность и раскрываемая через историю слов (языка), артикулирующих понятийную сферу (ср. [Pflieger 2006: XXVI—XXVII]).

Такой подход к истории понятий оказывается несомненно шагом в сторону от «*Vergriffsgeschichte in strengen Sinn*» в представлении П. Тирена, однако он кажется более гибким, открывающим перспективы для большего разнообразия исследований и, надо надеяться, более плодотворным. Вместе с тем он, следует думать, более приспособлен к русистике, поскольку в русской дискурсивной истории — еще в большей степени, чем в дискурсивной истории многих европейских языков — социально-историческая сфера крайне нечетко отделена от сферы христианско-религиозной, с одной стороны, и народно-магической — с другой. При таком подходе (к его преимуществам мы еще вернемся ниже) русская история понятий оказывается надлежной достаточно богатой (пред)историей. Я имею в виду прежде всего работы В. В. Виноградова по истории слов. Стоит напомнить, что Виноградов отнюдь не был провинциальным советским языковедом. В 1920—1930-е годы он был в целом

в курсе развития европейской гуманитарной мысли, в частности через работы упоминавшегося выше Г. Г. Шпета, и скорее отдавал себе отчет в значении истории слов для истории общества (хотя его больше интересовали собственно лингвистические и стилистические аспекты лексикологии), ср. его наблюдения над историей слов *декадент, декадентство, интеллигенция, кисейная барышня, отщепенец* и т. д. [Виноградов 1994: 135—137, 227—229, 243—245, 428—430]⁴. Эта линия исследований была продолжена до известной степени Ю. С. Сорокиным (см. [Сорокин 1965]) и в особенности в некоторых работах А. А. Алексеева, в полной мере заинтересованного проблемой соотношения лексических и социальных изменений (см. [Алексеев 1978]).

Сдвиг в сторону истории культуры приносит в исследованиях по истории русских понятий и другие дивиденды. Козеллек, сосредоточиваясь на истории «исторических» понятий, рассматривает в качестве передельного момента эпоху Просвещения. Оговоря зависимость постановки поворотного пункта (и членения истории на эпохи) от того, какие параметры берутся в качестве значимых, Козеллек объясняет, что именно в истории было перевернуто Просвещением. Новое время начинается с Просвещения, потому что Просвещение осознает себя как «знаменосец нового времени» (*neue Zeit* — [Kozelleck 2002: 160]). С этого времени «время не остается только формой, в которой совершеняются все истории, но оно само приобретает историческое качество. Вследствие этого история более не происходит во времени, но скорее посредством времени. Время метафорически динамизируется в самостоятельную историческую силу» [ibid.: 165]. Будущее из воспроизведения уже бывшего превращается в область нового и неведомого, и это меняет основы исторического сознания и саму конструкцию истории. Великая французская революция как откровение совершенно нового и непредвиденного была одним из основных импульсов этого изменения и вместе с тем его символическим отправным пунктом.

Однако российское Просвещение — это совсем особенное Просвещение, не похожее на Просвещение французское или немецкое. Французское или немецкое Просвещение было, по мысли Канта (в его заметках «*Was ist Aufklärung?*» — см. [Foucault 1984: 32—50]),

⁴ Теоретические формулировки Виноградова, появившиеся в работах 1940—1960-х годов, приспособлены к советскому изводу марксизма и поэтому малосодержательны, ср. [Виноградов 1977: 75—76].

становлением индивидуальной ответственности, которая позволяет просвещенному человеку разделить сферы подчинения и свободной мысли. В этом плане Просвещение было освобождением от государства как главного агента исторического порядка и социальной дисциплины. Русское Просвещение XVIII в. было куда теснее связано с государством, оно вводилось государством (по крайней мере при Екатерине Великой) и контролировалось им, так что, вообще говоря, оно может именоваться государственным просвещением (см. [Живов 1996: 422—427]). Государственный контроль включал в себя в качестве важнейших моментов контроль над историей и контроль над будущим. Поэтому в русском Просвещении реконцептуализации времени и реконцептуализации истории не происходило или, вернее, концепт Нового времени строился не из элементов собственного Просвещения, а усваивался от французов и немцев в качестве готового продукта. Поэтому для русской истории понятий Просвещение никак не может служить поворотным пунктом.

Где именно у русских располагается основной переломный момент, достаточно очевидно. Новая жизнь, а отсюда и новая мысль, и новые слова появляются в Петровскую эпоху. Не похоже, однако, что вместе с ними приходит и радикально новое понимание истории⁵, так что в качестве козеловского перепада эти десятилетия, видимо, не годятся. Перевал с наглядностью обнаруживается, когда мы занимаемся концептами культуры, а не концептами истории. В сфере концептов культуры в эпоху Петра идет бурное освоение новых концептуальных парадигм. Оно, как неоднократно отмечалось, начнется еще до Петра, но именно в его царствование характеризуется наибольшей интенсивностью и, стоит добавить, принуждением. Как определить эти новые парадигмы в их совокупности, скорее не ясно. Они несомненно представляют собой элементы европоцентрического процесса модернизации, как бы ни опрелелять этот сомнительный в своих универсалистских претензиях процесс (ср. [Дихон 1999: 1—24]). Им, по крайней мере выборочно, свойственна рационализация и секуляризация, хотя было бы неоправданным превели-

⁵ Какие-то перемены в концептуализации истории в конце XVII — начале XVIII в. имеют место. Именно в это время русские перестают составлять летописи и начинают писать историю (первой историей можно считать, видимо, *Сказку о истории* Андрея Дыглова 1692 г. [Дыглов 1990]; в петровское время появляется несколько историй, похожих на западноевропейские образцы). История строится на казуальной связи описываемых событий, тогда как летописанию такие связи не нужны. Это, однако, не та глубинная ревизия темпоральности, которую постулирует Козетлек.

чивать значение этих параметров для петровской политики в целом (ср. [Давров 2000]).

Появление новых реалий и новых понятий создает повышенный спрос на новые слова. Частично он удовлетворяется за счет заимствований, жадное освоение которых нередко рассматривается как основной лингвистический процесс эпохи петровских преобразований. Работы, посвященные петровским заимствованиям, многочисленны (см. [Christiani 1906; Смирнов 1910; Биржакова и др. 1972]). Как показал Ф. Оттен, многие из петровских заимствований появляются еще в последнее десятилетие XVIII в., тем самым опережая основные реформы [Оттен 1985]. Некоторые исследователи видят в освоении заимствованных слов прямой результат культурной революции, принесшей новые вещи и новые концепты [Свастаф 2004]; столь однозначная трактовка, однако, несостоятельна без существенных оговорок, учитывающих среди прочего, что новые слова могли быть переименованиями, т. е. новыми означаемыми для старых понятий (ср. [Живов 1996: 146—150; Zhivov 2005]).

В любом случае заимствования не решают понятийных проблем, которые ставит перед обществом модернизация: заимствования могут служить вспомогательным материалом, но не могут организовать новую дискурсивную практику. Эта невозможность обусловлена тем, что ни общественные и религиозные институты, ни модели бытового поведения и ритуалы повседневной жизни никогда не меняются радикально: какой бы пандемической ни была культурная революция, повседневное поведение и привязанные к нему дискурсивные практики сохраняют хотя и не тождество, но преемственность. Постепенность дискурсивных изменений сочетается с постепенностью социальных перемен: в петровское царствование новые дискурсивные практики осваиваются сначала небольшой элитой и лишь весьма постепенно распространяются на другие секторы общества (этот процесс, надо думать, не завершается и до революции 1917 г., когда он — в силу исчезновения старой элиты — перестает быть актуальным). Это означает, среди прочего, что новые дискурсивные практики не занимают монопольного положения. Птенец гнезда Петрова, изыскающийся на новомодном жаргоне, вынужден переходить на более общепонятный идиом при общении с представителями старшего поколения или членами других социальных групп. Его языковые повадки в высокой степени маркированы, и лишь через несколько поколений они оказываются вполне приемлемы хотя бы внутри дворянского общества.

Если петровские тексты наводнены заимствованиями, то позднее они по большей части уходят из языка. Отказ от заимствований был в основном обусловлен сменой языковых установок, ориентацией на французские и немецкие лингвостилистические пуристические модели (ср. [Живов 1996: 171—183]). Однако можно допустить, что в этом «очищении» языка играли роль и прагматические факторы: неосвоенные заимствования были плохим коммуникативным средством. Оба эти пурифицирующие фактора никак не воздействовали на другое отражение культурной революции в исторической семантике, именно в виду семантические кальки. Семантические сдвиги, как правило, не ретулировались лингвостилистическими теориями и вместе с тем они не были таким препятствием для понимания, как незнакомые заимствования. Хотя смысл, возникший в результате семантического сдвига, был новым, он был лишь отчасти новым, соотносенным со старым по определенным семантическим схемам, так или иначе известным носителям языка. Конечно, и на этой почве могли возникнуть коммуникативные конфликты, и они порою облырываются в сатирической литературе XVIII в.⁶ Однако это было маргинальным явлением, так что семантические сдвиги имели массовый характер, проходили относительно незаметно и в результате отложился в языке. Семантические сдвиги представляют собой не только феномены истории слов, но и феномены истории понятий, поскольку слова с новопробретенными значениями составляют новую понятийную парадигму и оказываются основой для модернизационных дискурсивных практик. В ряде случаев процесс семантического калькирования иноязычных слов наглядно отразился уже в Петровскую эпоху во внутритекстовых глоссах. Внутритекстовые глоссы, т. е. русский эквивалент для неосвоенного заимствования, в текстах периода преобразований чрезвычайно многочисленны. Они устраняют коммуникативный конфликт (поскольку объясняют неизвестное слово), позволяют заимствованию выполнить его семанти-

⁶ Так, в комедии Городничанова «Митрофанушка в отставке» имеется следующая сцена: «Заслуженов. Так это невеста будет не по вашему вкусу. Домоседова. И! мой отец. Какой в ней вкус. Вить она не баранина. Заслуженов (удерживает смех). Митрофанушка. Эк ты, матушка, бякнула. Разве о баранине речь зашла? [Городничанов 1800: 87]. Непонимание возникает здесь в результате столкновения прямого значения слова *вкус* и значения, обусловленного семантическим сдвигом и возникшим в результате калькирования франц. *goût*. Тем не менее метафорический *вкус* реализовал вполне обычную метафорическую схему, и непонимание возникло здесь при показном идиотизме комедийного персонажа.

ческую функцию символа новой «европейской» культуры и вместе с тем обладают дидактическим заданием: они обучают просвещательской читателя новым «просвещенным» словам. Именно так следует объяснить примеры, типа встречающихся у Феофана Прокоповича в «Правде воли монаршей»: *резоны или доводы, экземпляры или примфы* и т. д. [ПСЗ VII: № 4870, 606, 607, 634]. Такие глоссы оказываются специфической чертой той секулярной литературы, которую культивировал Петр (ср. [Василевская 1967; Биржакова и др. 1972: 63]; ср. еще многочисленные примеры подобных глосс в словаре заимствований — под рубрикой «глоссы» — в последнем из указанных исследований: [Там же: 101—170]).

В основном глоссы являются точными семантическими эквивалентами глоссируемых заимствований: заимствование и глосса воплощают столкновение двух дискурсов, традиционного и модернизационного, причем — и это особенность русской модернизации — новое может появляться в результате простого переименования старого. Однако в отдельных случаях глоссируемое заимствование подчеркивает в глоссируемом слове то значение (тог семантический компонент), который ранее в нем был второстепенным или не выделявшимся отчетливо и в результате соотносит старое слово с новым понятием, ср., например, глоссы в «Генеральном Регламенте или Уставе» 1720 г. [ПСЗ VI: № 3534, 141—160]: *дирекция (или управление), генеральные формуляры (образцовые письма), акциденции или доходы* и т. д. *Управление* — это многозначное слово; его соотношение с новым словом *дирекция* выделяет в нем один компонент, соответствующий бюрократизации власти в ходе реформ Петра. Точно так же в «Артикуле воинском» 1715 г. мы находим *самисфакцию* или *удовольствие* [Российское законодательство, IV: 353]. У *удовольствия* выявляется новое значение, соотносящееся с понятием дворянской чести, оскорбления и требуемого при оскорблении возмещения морального ущерба.

Русская модернизация приводит к появлению секулярной культуры, и в русских условиях эта инновация оказывается куда более радикальной, чем секуляризация культуры на Западе в раннее Новое время⁷. На Западе элитарная секулярная культура су-

⁷ О секуляризации русской культуры в XVIII в. можно говорить лишь с существенными оговорками по ряду причин. Во-первых, для большей части населения, да, видимо, и для большей части дворянства, религиозная культура, хотя бы и в своих «сверных» формах, остается доминирующей. Ни Ломоносову, ни Сумарокову не удается даже сколько-нибудь приблизиться к читательскому успеху *Четной Миледи* Димитрия

шествовала и в Средние века, выражалась в целом ряде явлений, не знакомых московскому культурному обиходу, например, в системе куртуазных отношений, рыцарстве и рыцарском романе, ученой юриспруденции, обрашающейся к античному наследию и т. д. Конечно, и в западном средневековье объем этой секулярной культуры относительно не велик и ее статус несравним с культурой религиозной. Тем не менее секулярная культура существует, и секуляризация Нового времени может расширять уже обжитую территорию. У русских такой территории нет, и весь набор понятий, нужных для секулярной культуры, им приходится создавать на пустом месте. Было бы, видимо, поспешным утверждать, что русские не ведали, что такое любовь, и совкуплялись, как животные, не испытывая никаких высоких чувств. Вряд ли можно полагать, что они были не в состоянии передать эти чувства словами, поскольку кое-какой вербальный инструментарий содержался в фольклоре. Однако в книжной культуре, пеликом религиозной, в этой области не было ни слов, ни понятий. Вернее, такие слова имелись, но они принадлежали семантическому полю греховного и предосудительного (как, например, существенные *любохотство* и *похоть*, глагол *распалиться* и т. д.), так что их коннотации содержали трудноустраиваемые элементы религиозной оценки⁸. Построить набор понятий, в которых такие коннотации оказывались бы затухеванными, было отнюдь не простой задачей, ее решение растянулось (если говорить только о языке элиты) вплоть до середины XIX в.

В сфере романтических отношений этот процесс осуществляется в значительной степени за счет семантических калек и может быть охарактеризован как секуляризация славянизмов (см. [Живов 1996: 497—509]). Именно в результате этого процесса *страсть*, *страстный*, *обаяние*, *обаятельный*, *соблазнительный*, в книжном языке допетровского времени обозначавшие разные аспекты дьявольского-Ростовского. Во-вторых, элитарная имперская культура также отнюдь не пренебрегает религиозным оправданием установленного Петром государственного порядка (см. [Лавров 2000: 344—346; Zliser 2004: 140—168]). Эти моменты, однако, сейчас можно не рассматривать.

⁸ Попытки игнорировать эти коннотации делались и молодым Тредиаковским, и молодым Ломоносовым, употреблявшими *похоть* в качестве позитивного обозначения любовного влечения (см. [Живов 1996: 170]). Однако этот юношеский эпитаж долговременных последствий не имел, и радостной *похоти* в русском языке не появилось.

то действия, превращаются в наименования позитивных любовных качеств и переживаний; эта трансформация осуществляется под влиянием их французских эквивалентов *passion*, *passioné*, *charme*, *charmant*, *seduisant* (см. [Виноградов 1977: 93—94; Хютль-Борт 1963: 145—146; 1968: 14—15; Лотман 1970: 86—87]). То же самое можно сказать о семантической трансформации таких слов, как *мечта*, *мечтание*, *мечтательный*, *преlestь*, *преlestный* (ср. фр. *rêve* и *charme*). Понятийная секуляризация обнаруживается и в других семантических сферах, ср. хотя бы изменения в титуле монарха: *царь*, благодаря бесчисленным библейским и литургическим употреблением ассоциирующийся в первую очередь с Царем Небесным, замещается на *императора*, никаких религиозных ассоциаций в русском языке не имеющим.

Вместе с тем в XVIII в. интенсифицируется взаимодействие деривнославянских и просторечных лексических элементов, важность которого для формирования словаря русского языка и развития его понятийной системы имеет принципиальное значение (ср. об этом уже в работе В. В. Виноградова 1927 г. [Виноградов 1977: 27—34]). Одним из факторов этой интенсификации было исчезновение границ между отдельными регистрами письменного языка, в результате чего книжная лексика и colloquialisms оказывались перемешанными в одной корзине. Одним из существенных процессов в лексике русского языка XVIII в. было появление в письменных текстах целого ряда слов, которые несомненно существовали ранее, но избежали письменной фиксации (см. в настоящем сборнике о таких словах, как *греховодник*, *заспать*, *приспать*). Это означает, что и «простонародные» понятия, соединявшиеся с неизвестными традиционному книжному языку словами, выходили на поверхность, занимали место в культурном сознании и вступали во взаимодействие с понятиями элитарной культуры.

Естественно, характер семантических сдвигов мог быть достаточно сложным, никак не сводящимся к семантическому калькированию или отталкиванию от «простонародных» значений. Общие схемы могут в таких случаях не работать, так что индивидуальные случаи семантического развития требуют отдельных, часто обобщающих обширный материал исследований. Укажу здесь, например, на работы, посвященные понятиям *народ*, *народный*, *народность* ([Schierle 2005—2006: 75—85; Бадала 2006; Erdinghaus 2006]; ср. еще [Виноградов 1994: 936—937]). В многозначном в средневековой письменности слове *народ* (см. [Срезневский II: 320—321])

в XVIII в. в качестве особого значения обособляется 'простой народ, чернь', ранее этот семантический элемент требовал описательного обозначения (*простой народ, черный народ*) (см. [СРЯ XVIII в., XIV: 17—18]; народ может употребляться как в соответствии с лат. *populus*, так и с лат. *plebs*). В Словаре Академии Российской это значение еще не фиксируется, здесь в статье *народ* дается описательное выражение *простой народ* в значении 'чернь, простодушный' [САР V: стб. 43; САР² III: стб. 1175—1176]. В Словаре церковнославянского и русского языка 1847 г. это значение появляется: 'Жители страны или государства, принадлежавшие к низшим сословиям' [СПРЯ II: 399]⁹. Эта новая многозначность развивается, можно полагать, как семантическое калькирование многозначности фр. *peuple* (ср.: *Peuple*, s. v. *peuple*). Этим, однако, семантическое развитие в данной лексической группе отнюдь не исчерпывается. Если существовавшее ранее *народ* воспроизводит многозначность фр. *peuple*, то прилагательное *народный* соединяет в себе, как отмечал уже П. А. Вяземский (Дамский журнал, 1824, № 8, с. 76—77), значения фр. *populaire* и *national*. Отсюда идет спектр значений, разный у разных авторов, новообразования (с 1819 г.) народность, которое может трактоваться и употребляться отдельными авторами как эквивалент фр. *nationalité*, и как эквивалент нем. *Nationalität*, и даже как эквивалент польск. *narodowość* [Остафьевский архив I: 357]. В составе знаменитой уваровской триады *Православие, Самодержавие, Народность народность* выступает, по проинципальному замечанию Б. А. Успенского, как русский ответ на фр. *fraternité* в не менее знаменитой французской триаде *liberté, égalité, fraternité* (как обозначение организационной единства нации) (см. [Успенский 1999: 16]). В развитии понятийной структуры прилагательного *народный* надо учесть также такие советские новообразования, как *народный заседатель, народный суд, народный комиссар (нарком)* и т. д., в которых *народный* обозначает 'относящийся к институтам «народной» власти' в оппозиции к институтам старого режима. Эта дискурсивная практика указывает в

своей черед на то, что советский режим с самого начала строит свою легитимность на понятийной паре «народ — власть», а не на паре «общество — государство» (как это делают либеральные режимы Европы Нового времени).

В результате многочисленных и разнонаправленных семантических сдвигов, семантического калькирования и последующей семантической переструктурировки постепенно возникает русский вариант того «метафизического языка», на отсутствие которого у русских жаловался Пушкин в 1824—1825 гг. [Пушкин XI: 21, 34; XIII: 187]. В. В. Виноградов в свое время писал о смешении в XVIII в. «церковнославянской морфологии с французской семантикой» [Виноградов 1977: 33]. Во второй половине XIX в. вызванная подобными процессами перестройка понятийной системы русского языка в основном завершается, так что появляется возможность говорить о периоде стабильности, хотя и весьма недолгом. Понятийные структуры, наиболее важные в этот период, представляют собой сложный синтез церковнославянского языкового наследия, модернизационных процессов XVIII — начала XIX вв., в ходе которых осваивались понятия новой «европейской» культуры, «простонародного» употребления, игравшего роль своего рода призмы, в которой преобладали усваиваемые из западной культуры понятия. Эта сложная фактура, определяющая богатство образованного русского языка, остается в значительной степени не изученной. Как было сказано выше, первые опыты этого изучения, появившиеся в последние годы, оказались весьма плодотворны. К этим первым опытам принадлежит и настоящая книга.

В книгу входит ряд очерков, описывающих историю понятий разных типов, соотносящихся с разными аспектами истории культуры. Она начинается с очерка, посвященного излюбленному понятию *Vergiftsgeschichte*, понятию времени, однако речь в этой работе идет не о перипетии темпоральности и концептуализации истории, как у Козеллека, а об измерении времени и контроле над ним; установление этого контроля ведет к ценностному переосмыслению неконтролируемого времени; в этой связи рассматривается история понятий *доузда* и *праздности* в русской культуре; в истории этих слов характерное для XVIII в. семантическое калькирование сочетается с переработкой семантики, унаследованной от предшествующих эпох, в случае *праздности* прежде всего с семантикой религиозной.

Следующий очерк посвящен истории понятий, непосредственно связанных с социальной историей, а именно понятиям *служба*,

⁹ Впрочем, в XVIII в. также употребление единичны, так что не удивительно, что словари их не фиксируют. С начала XIX в., в особенности в контексте обсуждения проблем национальной специфичности, *народ* в данном значении появляется чаще, ср., например, у Ф. В. Ростопчина в письме П. Д. Ципианову от 10 января 1806: «Нет нужды писать тебе об унынии, так сказать, всей России. Неудача, измена Немцов, неизвестность о прошлом, сомнение о будущем, а еще более рекрутца, дурной год и паутинная зима, все преисполнило и дворянство и народ явно печально» [Деятельный век II: 106].

promyses и *работа*. В их истории в Новое время семантическое калькирование не играет сколько-нибудь существенной роли, зато изменения в социальной структуре общества и связанные с ними сдвиги в системах ценностей играют первостепенную роль. Следовательно, что и в этом случае — по крайней мере в отношении понятий *службы* и *работы* — религиозная предистория соответствующих церковнославянских слов оказывает существенное и не поддающееся тривиализирующим схемам влияние на историю данных слов.

Существенную роль в формировании новой европеизированной культуры играет становление представлений о гражданском (секулярном) долге; этот процесс отразился в истории слов *долг*, *должность*, *долженство*. Взаимодействие культурных пластов прошлого наглядно, поскольку новое секулярное долженствование вырастает на пересечении унаследованных дискурсивных практик, в одной из которых, религиозной, долг был долгом перед Богом или естественным («остави нам долги наши» в Молитве Господней), а в другой, деловой, *долг* имел прямое финансовое значение. И в этом случае определенную роль играло влияние иноязычных практик, хотя зависимость от средневекового узуса (книжного и не книжного) продолжает просматриваться и в позднейших семантических напластованиях. Эволюция этой сложной семантической системы со сложной античной и новоевропейской предисторией позволяет по-новому взглянуть на теоретическую проблему кристаллизации нового значения из контекстуальных значений, реализуемых в устойчивых традиционных словосочетаниях.

Две следующие работы посвящены истории ментальных концептов, становление которых существенно для формирования модернизированной культуры. В одной из работ исследуются один из важнейших историко-культурных процессов концептуализации характерологических свойств человека, разработки понятийного аппарата для описания душевных свойств человека. В этой перспективе разбирается развитие семантического поля *смелости*, *храбрости*, *отваги* и т. д. В истории этих понятий существенную роль играют процессы, сопроваждавшие становление современного государства, прежде всего изменение военной тактики, характера армии и военной службы и связанных с этим социальных практик; в этой связи по-новому видятся достоинства и недостатки военного, и это видение находит отражение в развитии необходимых для его выражения понятий.

В другой работе речь идет о *сложности* как ментальном концепте, содержащем оценку интеллектуального или эстетического предмета (теории, текста, картины, музыкального произведения и т. д.); *сложность* может при этом оцениваться как позитивная характеристика или — в отталкивании от такой оценки — как характеристика негативная. В любом случае трудность для восприятия превращается в аксиологический параметр. Этот процесс находит аналоги в других европейских языках (так что семантическое калькирование можно рассматривать как один из действующих факторов), хотя, типичным образом, в России он имеет место с определенным запозданием.

Еще две работы, вошедшие в книгу, имеют дело с народными нравственно-религиозными представлениями (представлениями о грехе) и с тем, как эти представления сосуществуют с секуляризованным дискурсом XVIII в. История понятий приносит в данном случае картину быта и нравов русского общества, которая не раскрывается с той же ясностью из других источников. В одной из работ речь идет о детубойстве и связанных с ним понятиях *заспать* (*приспать*) *младенца*. История семантических изменений в группе слов, обозначающих преднамеренное или непреднамеренное умщвление младенцев, позволяет сделать выводы о характере соответствующей социальной практики в средневековой Руси и в России Нового времени. В другой работе изучается слово и понятие *зреховодник*, специфическое для восточнославянских языков, демонстрирующее существование у русского православного населения нравственных представлений, отличных от внушаемых церковной традицией, а в своей истории показывающее, как вступают в конфликт и взаимодействуют церковная культура и народная религиозность.

Разнообразие содержащихся в настоящей книге очерков позволяет затронуть широкий спектр проблем, встающих в историко-семантических исследованиях, имеющих дело с важными для развития культуры понятиями. Семантические изменения в этой сфере — это изменения в вербальной структуре памяти общества, его самосознания и самоконструирования. Они не только отражают динамику культуры, но и составляют фактуру этой динамики. Семантические изменения обуславливают напряжения, существующие в этой фактуре и создаваемые столкновением старого и нового, высокого и низкого, книжного и бытового, публичного и приватного. Анализируя разные понятийные области, мы изучаем разные типы

столкновения. Мы пока предполагаем лишь весьма ограниченным материалом для построения типологии историко-культурных процессов этого рода. Однако сама постановка данных проблем заставляет основательно для дальнейших работ в области исторической семантики. Надеемся, что предлагаемая вниманию читателей книга послужит этой цели.

Литература

- Алексеев 1978 — *А. А. Алексеев*. Семантическое «снижение» как отражение социальной структуры в русском языке XVIII века // *Russian Linguistics*. 4. 1978. № 1. С. 3—12.
- Бадалян 2006 — *Д. А. Бадалян*. Понятие «народность» в русской культуре XIX века // Исторические понятия и политические идеи в России XVI—XX века. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге: Алетейа, 2006. С. 108—122 [Сер. «Источник. Историк. История». Вып. 5].
- Биржакова и др. 1972 — *Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина*. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л.: Наука, 1972.
- Васильевская 1967 — *И. Васильевская*. К методологии изучения заимствований (Русская лексикографическая практика XVIII в.) // ИАН СЛД. Т. XXVI. 1967. № 2. С. 165—171.
- Виноградов 1977 — *В. В. Виноградов*. Лексикология и лексикография. Избранные труды. М.: Наука, 1977.
- Виноградов 1994 — *В. В. Виноградов*. История слов. М.: Толк, 1994.
- Городянинов 1800 — [*Г. Н. Городянинов*]. Митрофанушка в отставке, комедия в пяти действиях. Российское сочинение Г. Г. М., 1800.
- Девятнадцатый век I—II — Девятнадцатый век. Сб. I—II. Изд. П. И. Барановым. М., 1872.
- Живов 1996 — *В. М. Живов*. Язык и культура в России XVIII века. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
- Козеллек 2006 — *Р. Козеллек*. Социальная история и история понятий / Пер. с нем. Ю. И. Башилова // Исторические понятия и политические идеи в России XVI—XX века. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге: Алетейа, 2006. С. 33—53 [Сер. «Источник. Историк. История». Вып. 5].
- Копосов 2001 — *Н. Е. Копосов*. Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- Копосов 2006а — *Н. Е. Копосов* (изд.). Исторические понятия и политические идеи в России XVI—XX века. СПб.: Изд-во Европейского

- ун-та в Санкт-Петербурге: Алетейа, 2006. С. 33—53 [Сер. «Источник. Историк. История». Вып. 5].
- Копосов 2006б — *Н. Е. Копосов*. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI—XX века. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге: Алетейа, 2006. С. 9—32 [Сер. «Источник. Историк. История». Вып. 5].
- Лавров 2000 — *А. С. Лавров*. Колдовство и религия в России. 1700—1740 гг. М.: Древлехранилище, 2000.
- Лотман 1970 — *Ю. М. Лотман*. О соотношении поэтической лексики русского романтизма и церковно-славянской традиции // Тезисы докл. IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. 17—24 августа 1970 г. Тарту, 1970. С. 85—87.
- Лызов 1990 — *А. Лызов*. Скифская история / Подгот. текста, комментарий и аннотир. список имен А. П. Богданова. М.: Наука, 1990.
- Марасинова 2004а — *Е. Н. Марасинова*. Русский XVIII век. Текст и реальность. (Вместо предисловия) // *Canadian American Slavic Studies*. 38. 2004. № 1—2. С. 1—10.
- Марасинова 2004б — *Е. Н. Марасинова*. «Раб», «шоданный», «сын отчества» (К проблеме взаимоотношений личности и власти в России XVIII века) // *Canadian American Slavic Studies*. 38. 2004. № 1—2. С. 83—104.
- Остафьевский архив I—III — Остафьевский архив князей Вяземских. Изд. графа С. Д. Шереметьева. СПб., 1899—1901.
- ПСЗ I—XIV — Полное собрание законов Российской империи. (Собрание I—е), т. I—45. СПб., 1830.
- Пушкин I—XVI — *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений. Т. I—XVI. М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949.
- Российское законодательство I—IX — Российское законодательство XIX веков: В 9 т. Т. I—IX. М.: Юридическая литература, 1984—1993.
- САР I—VI — Словарь Академии Российской. Ч. I—VI. СПб., 1789—1794.
- САР I—VI — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. I—VI. СПб., 1806—1822.
- Смирнов 1910 — *Н. Смирнов*. Западные влияния на русский язык в петровскую эпоху. СПб., 1910 [Сборник ОРЯС. Т. XXXVIII. № 2].
- Сорокин 1965 — *Ю. С. Сорокин*. Развитие словарного состава русского литературного языка, 30—90-е годы XIX века. М.: Л.: Наука, 1965.
- Фрезневский I—III — И. И. Фрезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I—III. СПб., 1893—1912.
- СРЯ XVIII в., I—XVI — Словарь русского языка XVIII века. Вып. I—XVI. СПб.: Наука, 1984—2006 (продолжающееся издание).
- СЦРЯ I—IV — Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Имп. Академии наук. Т. I—IV. СПб., 1847.

- Успенский 1999 — Б. А. Успенский. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Россия / Russia. Вып. 2[10]. 1999. С. 7—19.
- Хархордин 2002 — О. Хархордин (ред.). Понятие государства в четырех языках. М.: Летний сад, 2002.
- Хотль-Ворт 1963 — Г. Хотль-Ворт. Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений // American Contribution to the Fifth International Congress of Slavists. Sofia, 1963. The Hague, 1963. P. 133—152.
- Хотль-Ворт 1968 — Г. Хотль-Ворт. Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка. К историческому анализу и классификации славянизмов // American Contribution to the Sixth International Congress of Slavists. Prague, 1968, August 7—13. The Hague, 1968. Reprint.
- Шнер 1927 — Г. Г. Шнер. Внутренняя форма слова. (Этюды и вариации на темы Гумбольдта). М.: ГАНХ, 1927.
- Врлнер 1972—1993 — О. Врлнер, W. Conze, R. Koselleck R. (Hrsg.). Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. I—VIII. Stuttgart: E. Klett, J. G. Cotta, 1972—1993.
- Christiani 1906 — W. Christiani. Über das Eindringen von Fremdwörtern in die russische Schriftsprache des 17. und 18. Jahrhunderts. Berlin, 1906.
- Cracraft 2004 — J. Cracraft. The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge (Mass.): London: The Belknap Press: Harvard University Press, 2004.
- Dixon 1999 — S. Dixon. The Modernisation of Russia 1676—1825. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999.
- Ebbinghaus 2006 — A. Ebbinghaus. «National» (*narodnyj*) und «nationale Eigenart» (*narodnost'*) in der russischen Literaturkritik des 1820er Jahre // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thiergen unter Mitarbeit von M. Munk. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2006. S. 51—79 [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A: Slavische Forschungen. Bd. 50].
- Eisler 1910 — R. Eisler. Wörterbuch der philosophischen Begriffe. 3te völlig neu bearb. Aufl. Bd. I—III. Berlin: E. S. Mittler und Sohn, 1910.
- Foucault 1984 — M. Foucault. What Is Enlightenment? // P. Rabinow (ed.). The Foucault Reader. New York, 1984. P. 32—50.
- Keipert 1998 — H. Keipert. *Kosmopolitizm*: ein brisantes Wort in der russischen Lexikographie des 20. Jahrhunderts. — Sprachnormen und Sprachnormwandel in der russischen Sprache des 20. Jahrhunderts. Festschrift zum 65. Geburtstag von O. Müller. Rostok, 1998 [1999]. S. 167—190.
- Keipert 2006 — H. Keipert. Glasnost'. Zu den lexikographischen Voraussetzungen für begriffsgeschichtliche Untersuchungen im Russischen // Russische

- Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thiergen unter Mitarbeit von M. Munk. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2006. S. 1—21 [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A: Slavische Forschungen. Bd. 50].
- Kharhordin 2005 — O. Kharhordin. Main concepts of Russian politics. Lanham, MD: University Press of America, 2005.
- Koselleck 2002 — R. Koselleck. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts / Transl. by T. S. Presner and Others. Stanford: Stanford Univ. Press, 2002.
- Koselleck 2004 — R. Koselleck. Futures Past. On the Semantics of Historical Time / Transl. and with an Introduction by K. Tribe. New York: Columbia Univ. Press, 2004.
- Ottens 1985 — F. Ottens. Untersuchungen zu den Fremd- und Lehnwörtern bei Peter dem Grossen. Köln; Wien: Böhlau Verlag, 1985 [Slavistische Forschungen. Bd. 50].
- Rosock 1972 — J. G. A. Rosock. Politics, Language and Time. Essays in Political Thought and History. London: Methuen, 1972.
- Schierle 2001 — I. Schierle. «Sich sowohl in verschiedenen Wissensgebieten als auch in der Landessprache verbessern». Übersetzungen im Zeitalter Katerinas II // von G. Lehmann-Carli et al. (Hrsg.). Russische Aufklärungszepktion im Kontext offizieller Bildungskonzepte (1700—1825). Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 2001. S. 627—642.
- Schierle 2005—2006 — I. Schierle. «Vom Nationalstolz»: Zur russischen Rezeption und Übersetzung der Nationalgeistesdebatte im 18. Jahrhundert // Zeitschrift für slavische Philologie. 64. 2005—2006. № 1. S. 63—85.
- Schierle 2006 — I. Schierle. «Syn otečestva»: Der «wahre Patriot» // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thiergen unter Mitarbeit von M. Munk. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2006. S. 347—367 [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A: Slavische Forschungen. Bd. 50].
- Schierle 2007 — I. Schierle. 'For the Benefit and Glory of the Fatherland': The Concept of *Otechestvo* // R. Bartlett, G. Lehmann-Carli (eds.). Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conf. of the Study Group on Eighteenth-Century Russia. Wittenberg 2004. Berlin: Lit Verlag, 2007. P. 283—295.
- Skinner 1978 — Q. Skinner. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 1—2. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1978.
- Thiergen 2006 — P. Thiergen. Begriffsgeschichte: Traditionen, Probleme, Desiderat // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thiergen unter Mitarbeit von M. Munk. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2006. S. XIII—XXIX [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A: Slavische Forschungen. Bd. 50].

- Trésor I—XVI — Trésor de la langue française; dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789—1960), publié sous la direction de Paul Imbs. Vol. I—XVI. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1971—1994.
- Tier 1931 — *J. Tier*: Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Heidelberg: C. Winter, 1931.
- Zhivov 2005 — *V. Zhivov*. Review of the book: James Cracraft. *The Petrine Revolution in Russian Culture*. Cambridge (Mass.): London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004 // *Slavic and East European Journal*. Summer 2005. P. 337—338.
- Ziser 2004 — *E. A. Ziser*: The Transfigured Kingdom: Sacred Parody and Charismatic Authority at the Court of Peter the Great. Ithaca; London: Cornell Univ. Press, 2004.

В. М. ЖИВОВ

ВРЕМЯ И ЕГО СОБСТВЕННИК В РОССИИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII—XVIII ВЕКА)

Вводные замечания. Проблемы времени, его восприятия и его репрезентации несомненно относятся к числу центральных историко-культурных тем. Этим вопросам посвящена обширнейшая литература, один обзор которой мог бы заполнить страницы целой книги. Предмет данной работы существенно уже и скромнее. Она посвящена характеру временной калькуляции, тому, как время считали, как разные варианты счета характеризовали разные культурные парадигмы, как они были связаны с апроприацией времени и как изменялись эти параметры при переходе от средневековья к Новому времени. Изменение природы темпоральности — один из кардинальных моментов в становлении Нового времени. Собственно, само наименование этого исторического периода (Новое время, Neuzeit), как отметил Р. Козеллек [Koselleck 2004: 225—226], включает понятие времени — в отличие от наименования других исторических периодов (Средние века, Mittelalter, Античность, Altertum).

Козеллек, исследуя историю ряда понятий, содержащих компонент темпоральности, продемонстрировал, что именно в этот период, в середине или в конце XVIII в., историческое время начинает противопоставляться натуральному времени: история наделяется собственной темпоральностью, будущее из прошлого преобразуется в проект неведомого и тем самым радикально преобразуется в проект ожидания [Ibid.: 93 сл., 222 сл., 255 сл.]. Вехами в этом процессе Козеллек считает эпоху Просвещения, заменившую ожидание конца света (Страшного Суда) представлением о прогрессе, и Великую французскую революцию, явившую с очевидностью данного неповторимость (непредказуемость) исторического движения.